

Аверин задумался об оставшейся на скамейке публичке: о бесечно улыбающейся Егоровой, незнакомой женщине и сидевшей в отдалении бабке в валенках, которую кто-то словно в насмешку вывел, чтобы показать какими первые две станут. Но до этого было далеко и о другом думали женщины, кушая пирожки...

Он вспомнил свою бабушку. Как сидела она у тёплой голландки, захваченная какими-то своими мыслями...

Аверин жалел, что мало уделял времени бабке, навещал её редко. Однажды из деревни пришло письмо. Писала двоюродная сестра Нелька:

«...У нашей бабки здоровье всё такое же. День ходит, два – лежит. В зеркале себя не узнаёт, говорит, «квартиранты», а меня ругает, зачем, мол, пустила. Куклу кормит вареньем и сахарным песком и огорчается, что та совсем мало ест»...

Он помнил эту куклу на бабушкином комодике. Кукла тарарцала поблекшие голубенькие глазки и групо улыбалась маленьким ротом...

Когда-то они всей семьей сошли с поезда. Встретила бабушка. Машины были редкостью, и они с чемоданами и сумками – Нелька несла куклу в руках – шли пешком. Под конец пути, когда показались крыши домов, она захныкала:

– У куклы ножка потерялась...

Бабушка поставила чемодан на дорогу:

– Поиду поищу, а то кто заберёт. Казалось нелепым, что кому-то нужна будет тряпичная нога от куклы.

– Не ходи, мать, – махнул рукою отец. – Другую купим.

– А может, ты ножку ещё в поезде оставила? – осторожно спросила бабушка.

Нелька покачала головой, поправила на одноногой кукле платище и заморгала глазами.

– Ну, из-за этого тащиться, – мать смотрела на бабушку с укоризной.

Но бабушка прошла лишние десятки километров, нашла потерю и сама пришла её к туловищу куклы...

Над комодом в большой деревянной раме под стеклом были собраны семейные фотографии, среди которых Аверин видел мать и себя маленького. Однажды он застал перед ними бабушку.

– Дети мои как живые, – улыбнулась она.

Дядьки были молодые, в тесных пиджаках, при галстуках.

– Всё на меня смотрят, губы у них шевелятся, зовут, только сойти отсюда не могут. Подождите, говорю, вот скоро сама к вам приду. Семеро было, и никого не осталось... Батьку твоего жалко. С войны целым пришёл, а хорошо и не пожил... Сашку жалко... Уж больно книжки любил читать. Дед его всё за керосин ругал. Так он пойдёт к крёстным и там всю ночь читает...

Вздыхнула:

– Федьку жалко – в танке сгорел... Написали, что герой, и по смерти орден дали и мне от колхоза – платочек... Я расплакалась: «На что мне платочек, когда сына-то нету?» Петьку жалко... Останься жив – был бы генералом...

И, поймав удивлённый взгляд Аверина, пояснила:

– Ум острый, в карты хорошо играл: кого хочешь обыгрывал... Илюшкиной фотографии жалко нету. Ведь совсем взрослый был, статный да красивый. Тогда, до войны, мы бедно жили, у него даже пальтишка не было, так в пиджакишке зимой и бегал. В соседнюю деревню пошёл, на льду поскользнулся да голову об лёд и ударился, а сколько он там пролежал... Только потом помер... А Сёмка и Никитка ещё раньше померли, маленькими...

А дед-то...

На фотографии дед был в тёмной в горошек косоворотке. Как-то Аверин ещё мальчишкой увязал за ним. Дед сел, а он с нетерпением ждал, когда тот ему что-нибудь расскажет, но дед, контуженный ещё в первую мировую, не умел рассказывать. Движения его были размерены и неторопливы...

– Дед-то зло-о-ой был, – тихо продолжала она, – так и метил кулаком в бок пихнуть. А лампу-то?... Я что-то сказала ему не так, он горящую и кинул в меня. Вот шрам от стекла остался, – она откинула со лба седую прядь, и Аверин увидел на коже беленький в виде полумесяца рубчик.

– Вот только детей своих жалко. Лягу на кровать, закрою глаза, а в ушах так и звенят их голоса: «Мама! Мама!» Рубашоночки в крови... В дверь бьются... Я кричу: «Нелька! Нелька! Двери быстрее отвори!» А Нелька говорит: «Спи, бабка, как же тебе всё это. Никто не кричит». Я лягу и так жалко их...

– Это ты, Саша? – она долго возилась с дверным крючком, пока наконец не открыла. – А я тебя не узнала. Как хорошо, что приехал. Мне Нелька наказывала: «Смотри, Саша придет», я и смотрела...

Он не писал, что придет, и у него невольно сжалось сердце: понял, Нелька говорила это каждый день, чтобы чем-то занять её.

Бабушка почти не изменилась, только выбившиеся из-под тёмного платка волосы стали совсем белыми. Несколько кофт обтягивало её узкую грудь. Плечи зябко согнуты, Конус из тёмных бабкинских юбок двинулся. Сипло дыша и шаркая по полу валенками, она пошла открывать двери в комнаты.

Аверин поставил чемодан и осмотрелся: оклеенные обоями стены, белёная, в четверть кухни, печь, обшитая железом голландка, кухонный столик, буфет, два табурета и дедова скамья у окна были прежними.

– Ты, Сашенька, есть хочешь? – спросила бабушка.

– Нет. Я уже поел, – ответил он и только сейчас заметил, что бабушка смотрит на него с жалостью, как на безнадежно больного, и ему стало не по себе.

– Где же ты спать будешь? – наконец спросила она. – Нелька-то квартирантов пустила: и мужик, и баба, и ребятёнок на диване прямо и спят.

Хотя Аверин и знал из письма, что за бабкой водятся странности, но растерялся и потому, не раздеваясь, зашагал в дальнюю комнату.

Лицо её болезненно сморщилось. Она осторожно пододвинулась к краю зеркала и заговорчески, указав пальцем в сторону своего отражения, шепнула:

– Вон, видишь? Седая, старая, а такая вредная, – и тоненько засмеялась.

Он понял и улыбнулся.

– Ну что, она, бабушка, вас трогает?

– А как же? Я хорошо одеваюсь – и она хорошее надевает...

– Значит, хорошо живёт...

– А мне-то плохо... Они (она имела в виду Нельку с Мишкой) все чужие, мне ничего не дают делать...

– Такого, бабушка, не может быть, чтобы всю жизнь вместе прожить и вдруг «чужие».

Это, кажется, её убедило. Она замолчала, подошла к гостиницам и старческой рукой неловко взяла оранжевый плод, долго держала его на весу, а Аверин мысленно ругал себя, что мало их купил. Разрезала апельсин пополам, предложила ему, он отказался. Порезала на дольки. На голубой клеёнке они выглядели оранжевыми корабльками. Она взяла один кораблик и поднесла ко рту...

Вечером она дремала у растопленной голландки, а они втроём, разорванные едой, сидели за столиком. Нелька, с жалостью взглянув на бабку, сказала:

– Совсем глупая стала... Видишь, у неё в комнате зеркало занавешено, это чтобы не дразнилось. То пальцем, то языком показывает... На

– Вы как хотите, а я столько не съем. Здесь на десять человек хватит. – Кушай.

Он решительно всю гору ссыпал обратно в чугунок. К оставшейся в дне добавил кусочек мяса, яичко, всё это запил чаем и был сыт.

– Я вот что думаю, – сказала бабушка, разворачивая платочек, который он заметил, когда встал с постели, – надо бы тебе денежки взять. Сколько ты на нас потратил много. У тебя ведь детки...

– Не надо. Деньги у меня есть.

– А мне-то деньги куда? Мне каждый месяц пенсию приносят. Я не трачу, Нельке отдаю. Это ты в городе живёшь, а город денежки любит – воды стакан бесплатно не выпьешь...

– Всё равно не надо.

Она, было, примерилась силой сунуть их ему в карман, но он не дался.

– Что с тобой сделаешь? – в бессилии и страдальчески глядя на него, сказала бабушка. – Может, денги-то негодные, потому и не берёшь их, а?

– Годные, хорошие денги. Только есть они у меня.

– Обманываешь меня... Негодные это денги.

– Ну, как же негодные? И у меня такие есть.

– Вот и хорошо, возьми, если годные. Почему я тебе раньше их не давала? Не было их у меня, а сейчас – есть.

– Всё равно не надо мне денег.

– Обижаетесь ты меня. Скольких знала, что из-за денег убить могли,

В прихожей раздался звонок. Аверин вытер перепачканные чернилами пальцы и пошёл открывать двери. Вместо жены в дверях стоял незнакомый человек:

– Распишитесь. Вам телеграмма. Аверин прочитал:

«Бабушка умерла. Похороны двадцатого, час дня. Миша».

Вот и послал бабке апельсины... Бабушка вздыхала: «Эх, Саша, тяжело жить... Устала жить, а смерть никак не приходит»...

Сейчас вот пришла...

Он слышал её тонкий старческий голос:

«Тебе, Саша, денежки дать?»

«Не надо, бабушка».

«Поест хочешь?»

Он увидел, как она отрезала кусок румяного рыбника и протянула ему.

«Бабушка, я не могу больше...»

И только сейчас заметил, что его пальцы продолжают выводить на фанере адрес.

Всё из бабушкиной комнаты было вынесено.

На двух табуретах стоял гроб, обитый голубым ситцем. То, что называли бабкой, до подбородка было закрыто белой простыней с синим собором и ангелами. Горели свечи. Взгляд Аверина перебежал со свеч на платок с розами, привезённый в прошлый раз, и на узкую полоску бумаги с ликами, прикрывавшую волосы и лоб, и на чужое, незнакомое лицо, и далее, через собор, – на противоположный край, где из-под простыни выпирали носы туфель, и снова

так, иначе откуда взялась в кармане узкая полоска бумаги с отпечатанным на ней названием «Бабушка умерла...» и назначено время и дата? Ему не терпелось вытащить её и на обороте прочитать: «Билет сохранять до конца сеанса». Но масса людей сосредоточено и молча двигалась и, шагая сзади, заставляла идти и глядеть на качающуюся впереди восковую маску. Этой, чужой, в деревянном ящике под тонкой простыней было не холодно...

Кладбище – на бугре, под берёзами.

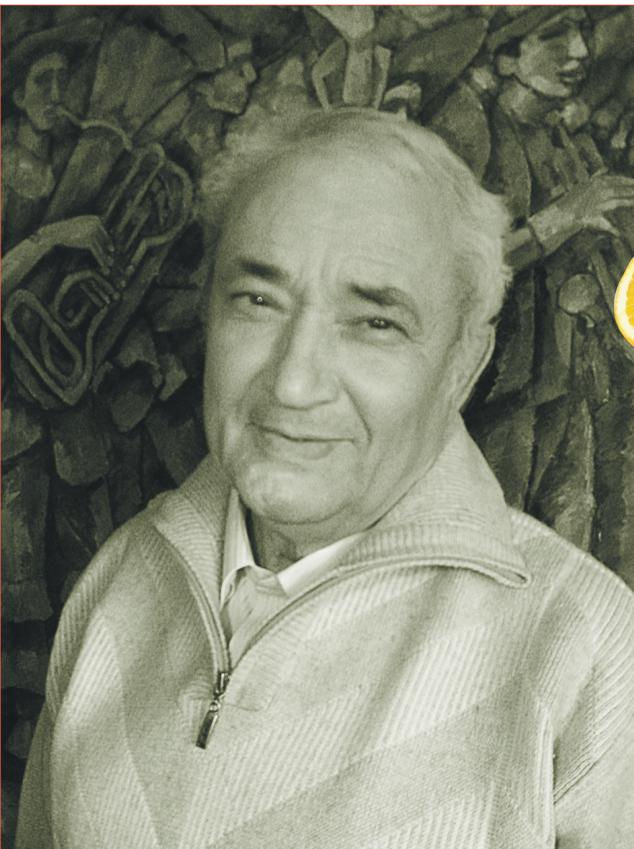
Несущие гроб не вешались на узкой тропинке и застрелили в сутрогах.

В оградках, подобно людям раскинув руки, стояли кресты. Из овальных фотографий смотрели старые и молодые лица. У древней берёзы как взрыв – яма, жёлтый песок разбросан по снегу, металлическая оградка снесена, дедов крест покосился и коробочка на нём, как разорённое птичье гнездо, пуста...

Попрошались.

Закрыв гроб голубой крышкой, подвели верёвки... он поплыл к яме и, качнувшись, как зачерпнувшая бортом лодка, ушёл вниз. И там, на дне жёлтой ямы, Аверину было странно видеть голубой квадрат окна в другой, перевернутый мир: «Пошла бабка к деду...»

Градинами посыпались мелкие денги – наверное, на дорогу – и скромные платочки. Мужики взяли за лопаты; разрушая тишину и стараясь разбудить деда, забил бара-



**Геннадий Александрович ЯКОВЛЕВ** родился 7 сентября 1938 года в Новгороде. **Просак, автор двух книг: «До первых белых мух» (2009) и «Прогулки в никуда» (2010). Член Союза литераторов «Веточ», входящего в состав Международного сообщества писательских союзов. Подполковник в отставке. Художник по дереву, живописец, график. Живёт в Риге, Латвия.**

Увидел полосатые бабкины половики, диван, стол со скатертью, телевизор, комод с куклой, а в холодном углу Нелькины банки с тупёной – при квартирантах их там быть не могло...

– Нет, бабушка, никто здесь не живёт. Это телевизор или радио говорит, а вам кажется, что квартиранты. – А я уж её ругаю... А они здесь прямо вповалку и спят...

Поняв, что её не переубедит, он вернулся к чемодану.

– Я гостинцев привёз.

Поставил чемодан у кухонного столика и стал выкладывать на голубую клеёнку толстокожие ярко-оранжевые апельсины, жёлто-зелёные лимоны.

– А это вам, – он вытянул за кончик лёгкий шерстяной платочек с розами, но бабушка стояла, не решаясь брать.

– Как умру, Нельке и останете. Заберёт она его у меня.

– Нет, бабушка, я и ей привёз. – Вынув и развернув розовый, лёгкий, как облако, платок для Нельки, я приложил его к апельсинам, и стол вспыхнул огнём.

– Красивый какой, – бабушка не могла отвести взгляда от этого ковра, и Аверин смутился: в этом огне её платочек потерялся.

– Денежек что же ты потратил так много?

– А куда их девать? Не было бы их, то ничего бы и не привёз. Так что носи его, бабушка.

– Спасибо, роднёнький, не могу я. Помирать хочется, тяжело стало, – она залумалась и, немного погодя, добавила: – Бабку зачем-то впустили... Не могу я с ней... Как надену что, так она, ведьма, то же самое и одевает. Так мне это не нравится...

руку навешает платков разных, вот, мол, сколько их у меня. И у той столько же... Не любит она себя в зеркале, думает: какая-то бабка... Или увидит на чайничке, – Нелька ткнула пальцем в своё розовое отражение на его металлическом боку, – и говорит: «Смотри, куда они забрались». Или вечером занавесочку на окне откинет: «Смотри, те и тут колдунья». Но отходчивая. После бани я привела её домой.

«А теперь, говорит, иди и товарку мою помою». «Хорошо, говорю, помою». Сели за стол, просит: «Пригласи бабку-то, пусть с нами чаю попьёт».

– Это всё оттого, что вы ничего не даёте ей делать, – сказал Аверин.

– А что делать? – Мишкино лицо приняло тоскливое и отчаянное выражение. – Дрова и воды из колодца я сам принесу. Поест приготовит, кур да поросёнка покормит Нелька сможет. Попросят её одну пуговицу к новому пальто принести, так она их все посрезала и в два ряда, как у свиноматки, других нашла, и где она только такие нашла, а пелти зашила... Ну, что ещё ей дать?

– А я, – вставила Нелька, – дала ей шерстяной носок связать, не успела, так она сделала его в метр длиною...

Утром Аверин проснулся. Бабушка сидела одна и что-то завязывала в платочек. Заметила его:

– Есть хочешь?

И не дожидаясь ответа, вынесла из печи чугунок и скороворду с мясом и стала выкладывать на стол хлеб, масло, сахар, мисочку с варёными яйцами... Он отрезал немного хлеба, и рука его дрогнула: на тарелке возвышалась пирамида из пшённой каши.



а ты не берёшь. Иван Петрович, – она назвала сестрино имя, – совсем меня дурой считает, если, мол, старая, то и ума нет, говорит: «Уходи от Нельки-то. Будешь с нами жить: я, Анисья и ты». Это чтобы мою пенсию забрать. Всё жалуются, что денег нет, и в буфете опивки пьёт, что в кружках остаются...

Нелька уже рассказывала, что Иван Петрович дерётся с бабкой Анисьей, когда та не даёт ему денег на водку.

Несколько раз бабушка прятала денги у Аверина в вещах, но тот находил и возвращал.

Через пару дней он уезжал. Подъехала Мишкина машина. Аверин попрощался и вышел во двор.

Падал снег. Бабушка, забыв обуться, в одних чулках выскочила из дома, у калитки догнала его и, чтобы не видела Нелька, сунула ему завязанный узелком платочек.

– Возьми, Саша, денежки-то.

– Не надо, бабушка, – он старался не глядеть на бабкины ноги на снегу, к горлу подкатывал комок. – Идите домой. У нас всё есть. Если что – сами поможем. Простудитесь...

– Возьми, Сашенька...

Подождал Мишка, подхватил чемодан.

– Бабушка, бегите домой. Замёрзните ведь. Я ещё приеду.

Бабушка, уцепившись в край изгороди, глядела, как он удаляется. Глаза её смотрели тоскливо, как за последним журавлём, и он слышал:

– Возьми, а?... Возьми...

Хотелось и взять их, чтобы не обидеть, и не моглось: он не привёз, чтобы просто, ни за что, давали денги, и не знал, как к этому отнесётся Нелька: ему мерещился из тёмных окон её острый взгляд. А потом его уже несло к машине.

– До свидания, бабушка...

«Что бы ей такое хорошее пришло?» – думал он. – Надо бы апельсинов...

Но после поездки было не до апельсинов: с работы Аверин приходил поздно, семья спала, а просить замученную заботами жену язык не поворачивался.

В мае с полочки та принесла их целую сумку.

– Надо бы бабке послать, – вспомнил он.

– А ты сначала попробуй их. Ложные и безвкусные, как трава... Зря купила.

– Да, такие посылать не стоит, – сказал он, с удивлением увидев за окном зелёный дым на деревьях, и, чтобы как-то оправдаться, добавил: – А впрочем, у них в огороде скоро свои витамины вырастут...

на лицо. Он пробовал искать знакомые чёрточки – и не обнаруживал. Лицо потеряло прежне сходство и больше походило на восковую маску, вылепленную талантливым скульптором под чужую указку. Скульптор угадал неуловимые пожелания на висках, переносице и у лба. Всё остальное казалось только обозначенным: лицо у неё было мягче, нос и губы – шире. Она улыбалась, заглядывая Аверину в глаза: «Саша, ты поест хочешь?», – и огорчалась, что он не ест. Это была искусно сделанная кукла не лучше той, что сидела на бабушкином комодике...

Бабушка стояла рядом. Отогнув край жёлтых обоев и показав пальцем, она тонко хихикнула: «Смотри, что старая ведьма выдумала: мой платочек надела и в гроб легла...»

Подошла Нелька, поправила горящую свечу и тихо, словно боясь разбудить, шепнула:

– Вот и нет у нас бабки. Отмучилась...

Потом вспомнила что-то такое, от чего лицо её внезапно покраснело, глаза, как блюдца, наполнились слезами. Она разрыдалась. Какая-то женщина всхлинула, а другая сказала:

– Не надо так убиваться. Жалко, конечно, бабку, ведь ничего хорошего не видела в жизни, но куда денешься?

Аверин ещё немного постоял и вышел. Мишка, не решаясь входить, топтался на крыльце. Лицо здоровое, красное. Узнал, улыбнулся:

– Приехал? Я думал, давай телеграмму или не давай, всё же дал, подумал, если надо – придет, а можно было и не ехать, ведь был в прошлом году. Жаль бабку. Помоги от неё никакой, но хоть дом сторожила – надеялась, что дети приедут...

Процессия. Ноги у Аверина вязли в снегу и съезжали в дорожную колею. Выбирался из неё и вновь туда попадал. Рядом было опухшее от слёз Нелькино лицо, а впереди вместе с кузовом машины качалась бабкина маска. Снежинки падали на эту маску и мгновенно исчезали.

– Последние дни она уже не могла говорить, – сказала Нелька, – у неё отнялся язык. На рот покажет, а потом – на обой, мол, мужики с бабами дерутся...

На жёлтых обоях художник изобразил отдельные облетевшие и сплывшие ветвями деревья. И Аверин вспомнил прам на бабкином лбу.

– Это ещё раньше она мне говорила, что там мужики за бабами бегают. Я уж ей говорю: «Вернётся, баба, к тебе язык. А мужиков-то нет, – проведи ладонью по стене, – видишь, не стряхиваются». Она и положила голову на подушку, успокоится...

Нелька замолчала.

Не верилось, что бабка умерла.

Казалось, вернись он сейчас в бабкин дом, она встанет с табурета, узловатыми пальцами поправит фарук, скажет: «Саша, тебе подогреть?», – и, не слушая его, загремит посудой. Чтобы отвлечь её, он напросился к портфелю и скажет: «Бабушка, я вам апельсины привёз»...

Сколько Аверин помнил себя, она была живой – и вдруг её нету. Это просто искусно поставленный спектакль, иначе откуда взялась в кармане узкая полоска бумаги с отпечатанным на ней названием «Бабушка умерла...» и назначено время и дата? Ему не терпелось вытащить её и на обороте прочитать: «Билет сохранять до конца сеанса». Но масса людей сосредоточено и молча двигалась и, шагая сзади, заставляла идти и глядеть на качающуюся впереди восковую маску. Этой, чужой, в деревянном ящике под тонкой простыней было не холодно...

Кладбище – на бугре, под берёзами.

Несущие гроб не вешались на узкой тропинке и застрелили в сутрогах.

В оградках, подобно людям раскинув руки, стояли кресты. Из овальных фотографий смотрели старые и молодые лица. У древней берёзы как взрыв – яма, жёлтый песок разбросан по снегу, металлическая оградка снесена, дедов крест покосился и коробочка на нём, как разорённое птичье гнездо, пуста...

Попрошались.

Закрыв гроб голубой крышкой, подвели верёвки... он поплыл к яме и, качнувшись, как зачерпнувшая бортом лодка, ушёл вниз. И там, на дне жёлтой ямы, Аверину было странно видеть голубой квадрат окна в другой, перевернутый мир: «Пошла бабка к деду...»

Градинами посыпались мелкие денги – наверное, на дорогу – и скромные платочки. Мужики взяли за лопаты; разрушая тишину и стараясь разбудить деда, забил бара-

бан; гулко ударяясь о крышку гроба, застучали мёрзлые комья земли...

Удари стали глуше, барабан захлебнулся – пожалуй, разбудили, – и не стало голубого кусочка неба под ногами...

Аверин возвращался последним. С бугра виднелась лента дороги, разорванная печочка людей и занесённые снегом крыши домов. Висела серая простыня неба, но ни собора, ни ангелов на ней не было...

Следовало прийти в себя и собраться с мыслями...

Было жаль бабку, и он казнил себя, что, занятый, вовремя не прислал ей апельсинов. Прислал бы и, может, она бы была жива. Дети её, будь живы, разве допустили бы такое? Теперь вот её нет...

Между тем печочка, втянувшись в переулочек, потерялась. Он спохватился и оттолкнулся – его подняло и понесло... Были у него крылья или нет, не об этом он думал, но если бы кто увидел, то решил бы, что летит западный ангел...

Ему привиделась бабушкин дом и комнаты с половиками – словно растеленными для чтения свитками её жизни. Он откroет двери, но бабка уже не встанет с табурета и не спросит: «Саша, ты есть хочешь?» И, не слушая его, не пойдёт к печи, не загремит ухватом и не вывалит содержимое чёрного от сажи чугунка ему на тарелку...

Её нет...

Но, войдя в комнату, он замер: у печи на табурете сидела его бабка, спокойная, помолодевшая. Он даже рассмеялся: пока ту куклу с правдоподобной маской хоронили, обманывая болезни и смерть и его в том числе, она оставалась здесь. Спектакль, казавшийся длинным